

У каждого своя Сибирь. Биографическое интервью с В. П. Санчировым

Эльза-Баир Мацаковна Гучинова¹

¹ Калмыцкий научный центр РАН (д. 8, ул. И. К. Илишкина, 358000 Элиста, Российская Федерация)

доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник

ORCID: 0000-0002-9901-0131. E-mail: bairjan@mail.ru

Аннотация. *Введение.* Предлагаемая публикация представляет собой текст биографического интервью выдающего калмыцкого историка-ойратоведа Владимира Петровича Санчирова (1947–2019) и комментарии к тексту. Беседа состоялась в Элисте в 2004 г. в рамках исследовательского проекта «У каждого своя Сибирь», который посвящен важному в истории Калмыкии периоду, но еще недостаточно исследованному антропологами и социологами — депортации народа в Сибирь (1943–1956 гг.) и памяти об этом. *Цели и задачи* проекта — показать повседневные практики выживания калмыков в Сибири, а также и отдать дань уважения к недавно ушедшему от нас старшему товарищу и коллеге. К тексту спонтанных интервью был применен текстологический анализ и метод деконструкции текста. Из транскрибированного текста интервью мы видим стратегии выживания и адаптации юного поколения спецпереселенцев в местах вынужденного проживания, видим, как растет и взрослеет В. Санчиров в Ханты-Мансийске, как противостоит практикам исключения на этнической основе и как переживает стигму запрещенной властью этничности, как знакомится с Калмыкией. Текст интервью представляет интерес всем исследователям депортации калмыков и памяти об этом периоде.

Ключевые слова: депортация, калмыки, репрессии, нарратив, устная история, политики памяти, гендер, дискурс, В. П. Санчиров

Благодарности. Исследование проведено в рамках государственной субсидии по проекту «Комплексное исследование процессов общественно-политического и культурного развития народов Юга России» (№ госрегистрации: АААА-А19-119011490038-5).

Для цитирования: Гучинова Э.-Б. М. У каждого своя Сибирь. Интервью с В. П. Санчировым. Монголоведение. 2019. № (3): 543-563. DOI: 10.22162/2500-1523-2019-32-543-563.

UDC 394

DOI 10.22162/2500-1523-2019-3-543-563

‘Everyone’s Got His Own Siberia’: a Biographical Interview with Vladimir P. Sanchirov

*Elza-Bair M. Guchinova*¹

¹ Kalmyk Scientific Center of the RAS (8, Ilshkin St., Elista 358000, Russian Federation)

Dr. Sc. (History), Leading Research Associate

ORCID: 0000-0002-9901-0131. E-mail: bairjan@mail.ru

Abstract. *Introduction.* The publication consists of a transcription of a biographical interview of the celebrated Kalmyk historian and Oiratologist – Vladimir Petrovich Sanchirov (1947-2019), supplemented with the author’s commentaries. The interview took place in Elista in 2004 as part of the research project ‘*Everyone’s Got His Own Siberia*’ dealing with the crucial but understudied period of Kalmyk history – the nation’s Siberian deportation of 1943–1956 and memories thereof. *Goals.* The project aims to investigate the everyday survival strategies of Kalmyks in Siberia, as well as to pay tribute to the recently deceased colleague and friend. *Methods.* The methodology used to study the raw interview text includes the textual analysis and deconstruction. *Results.* The transcribed text shows survival and adaptation strategies of the young generation of *spets-pereselentsy* at places of forced settlements; we see V. Sanchirov’s youth in Khanty-Mansiysk, his opposition to ethnical oppression, his dealing with the stigma of government-forbidden ethnicity, and his acquaintance with Kalmykia. The text may be of certain interest to all researchers studying the Kalmyk deportation and memories thereof.

Keywords: Deportation, Kalmyks, repression, narrative, oral story, politics of memory, gender, discourse

For citation: Guchinova, Elza-Bair. ‘*Everyone’s Got His Own Siberia*’: a Biographical Interview with Vladimir P. Sanchirov. *Mongolian Studies*. 2019; (3): 543-563. DOI: 10.22162/2500-1523-2019-3-543-563.

Беседа с Владимиром Петровичем Санчировым состоялась в 2004 г. в Элисте в рамках исследовательского проекта «У каждого своя Сибирь» [подробнее: Гучинова 2005]. Я была знакома с Владимиром Петровичем с детства, но возможность общаться с ним как с коллегой у меня появилась только после окончания Калмыцкого госуниверситета, когда мы стали работать в одном институте.

Это был спонтанный устный рассказ о своей семье и сибирском детстве крупного калмыцкого историка. Присущий В. П. Санчирову ясный стиль мышления отразился в его повествовательной манере, такой же ясной и внятной, — на первый взгляд, даже совсем простой. Однако за лаконичностью формулировок ученого кроется умение точно и корректно формулировать мысль, а также и скромность рассказчика, понимающего ценность своих компетенций.

Владимир Петрович родился в Ханты-Мансийске в 1947 г. Он не знал своего отца, и согласие на биографическое интервью предполагало, что мы затронем и этот деликатный вопрос. Транскрибируя запись на бумагу, я отдала текст Владимиру Петровичу для ознакомления. Санчиров попросил, все оставить как есть, видимо, увидев в смелом решении Марии Васильевны завести ребенка желание обрести новый смысл в жизни после потери двоих детей во время войны — желанием, поддержанном ее свекровью.

В. П. Санчиров относится к поколению калмыцких детей, для которых первые образы мира были сформированы за Уралом, а тайга так и осталась образом малой родины, а Сибирь, — может быть, первой малой родиной (или второй?). Он рос, когда в библиотеках не было калмыцких сказок и надо было спорить с мальчишками, что есть такой народ — калмыки. В своем интервью он рассказывает, как по крохам, вопреки обстоятельствам медленно формировалась его этническая идентификация, проявлять которую публично в том сталинском обществе было запрещено. Калмыцкую музыку он услышал впервые в 3-м классе, когда ее передавали по Всесоюзному радио. И только бабушкин калмыцкий язык, общение с земляками и уйгурские сказки с упоминанием калмыков укрепляли его этническую идентичность. Парадоксально, но, когда изъяли калмыцкие книги из библиотек, мальчик нашел в отрицательном фольклорном герое уйгуров — калмыке — опору и подтверждение, что калмыки были не настолько воображаемой общностью, что следы их остаются хотя бы в уйгурских сказках и негативный персонаж сыграл для В. П. Санчирова позитивную роль.

Невидимые практики исключения калмыков хорошо видны в сюжете, связанном с оформлением документов как знаков гражданства. Сыну спецпереселенки не полагался даже такой простой

документ, как свидетельство о рождении, — только справка о рождении. Поэтому получение полноценного свидетельства, о чем рассказчик упоминает дважды, в 1955 г., когда страна жила без Сталина уже два года, становится событием для семьи, по значению равном получению паспорта матерью и отмене ежемесячной регистрации в комендатуре. Это были первые шаги к реабилитации народа.

В предложенном нарративе мы встречаемся с разными стратегиями выживания калмыков, в данном случае — семьи Санчириных. В первую очередь это характерная для многих советских репрессированных семей практика помалкивать, особенно во взаимодействиях в сфере официального [Байбурин 2017: 29]. Эта «тактика слабых» (М. Серто) в противостоянии с могущественным и коварным государством в устах мудрой бабушки звучала поговоркой: «Не знаю» — это одно слово, а «знаю» — это много-много разных слов.

Также работало и другое правило, сформулированное Константином Эрэндженовым в колымском лагере: *«надо уметь быть полезным людям. Только таким образом, утверждая свою полезность, убеждая своим умением в том, что ты можешь не хуже других, даже в чем-то превосходить, — можно было наравне общаться изгою с теми, кто сделал или считал тебя таковым»* [Эрэндженов 2001: 107]. И та же мудрая бабушка, вооружившись суровой ниткой и цыганской иглой, идет в детский сад, который посещает внук, и латает все износившиеся дырявые матрацы.

Наконец, важным было работать изо всех сил. В повествовании дважды упоминается, что «мать работала как лошадь», поэтому «мы жили неплохо». В этом сравнении с животным отражается язык травмы: чтобы жить по-человечески, надо было работать подобно рабочей скотине. Примечательно, что в своем нарративе Владимир Петрович не произнес ни одного штампа, ни разу не сделал обобщений, последовательно оставаясь в рамках индивидуального опыта и семейной хроники.

Стоит отметить, что нарратив В. П. Санчиринова о депортации — позитивный в терминах Джеффри Александера [Александр 2013: 164], т. е. его повествование не акцентирует страдание и трагедию как таковые, а депортацию вписывает в исторический процесс,

который продолжался. «Хорошая» память о детстве, которое пришлось на те «проклятые годы» сохранилась почти у всех «калмыцких детей Сибири», которые не застали самого тяжелого времени, или не помнят их как таковые, потому что старшие родственники смогли смягчить тяготы тех лет.

Владимир Петрович хорошо помнил годы, завершавшие сталинское правление, и то, что такого вопроса «ехать или не ехать на родину» для матери не было. Он сохранил хорошую память о сибирских годах, когда его семья жила в лучших условиях, чем вернувшись в Элисту, когда среди калмыков не чувствовалось того социального и имущественного неравенства, которое появилось на обретенной степной родине.

Несколькими словами В. П. Санчиров обрисовал укрепление этнической идентичности у взрослых представителей калмыцкого сообщества из-за жестких рамок этнической группы, границами которой были внешность, калмыцкий язык и незнание русского языка стариками, религия и самый важный на тот момент фактор — обвинение в предательстве, репрессированный статус и выселение «навечно»: «общая беда спланивала людей», «общались друг с другом больше».

Как видно из нарратива Владимира Петровича, «дети Сибири» не хотели ее покидать и, вернувшись на «настоящую» родину, с трудом привыкали к ее природе, климату, закатам. Процесс этнической идентификации продолжался, и потребовалось время, чтобы привыкнуть и полюбить калмыцкие степи.

Несмотря на «хорошую память», нарратив В. П. Санчирова в целом отражает равновесие добра и зла в обществе. Как и во многих других рассказах калмыков о депортации, в его повествовании присутствуют два противоположных типажа, представляющих власть, как два образа Родины. Нехороший солдат — толкал, пинал, не дал собрать вещи, взять с собой патефон, швейную машинку. Второй успокоил, посоветовал записать на себя чужого ребенка, сойти в Ханты-Мансийске, где климат помягче, и не стремиться в Салехард, где лютые зимы.

Я пришла на работу в КНИИИФЭ в 1983 г., и тогда многие старшие коллеги повторяли шутку о защитах кандидатских диссертаций как о «получасах позора», за которыми следует достой-

ная зарплата всю жизнь. Это были ученые, которые пользовались статусом представителей незаслуженно репрессированного народа и попали во вторую волну вдвойне аффирмативной коренизации в науке в 1960-е гг.

Совсем не таков был Санчилов. Он и вуз выбрал достойный — Ленинградский университет, и поступил на общих основаниях на самый престижный факультет — восточный. В качестве диссертационного исследования он выбрал довольно сложную тему — «Илэтхэл шастир» как источник по истории ойратов. Написать такую работу было непросто: это и темный, малоизученный, период в истории калмыков, и источниковедческий подход предполагает знание и многих других источников той эпохи, и отечественной историографии того периода, и то, как изучали эту проблему зарубежные коллеги, и то, как она корреспондирует с имеющимися в архивах неопубликованными документами. Вышедшая в издательстве «Восточная литература» эта диссертация [Санчилов 1990], ставшая монографией (много ли из коллег печатались в то некоммерческое время в центральных издательствах?), и сейчас, как и опубликованная в 2016 г. монография «Письменные источники по истории ойратов в XVII–XVIII веках», также вошла в золотой фонд калмыцкой науки [Санчилов 2016].

К сожалению, в той беседе мы ограничились сибирской темой. Студенческая жизнь в Ленинграде осталась за рамками разговора. А как было бы интересно узнать о его интеллектуальной жизни в Питере. Знаю, что он бывал в гостях в легендарной квартире сестер Т. А., Г. А. и Е. А. Бурдуковых на Фонтанке. Как-то обсуждая книжные новинки, я упомянула воспоминания Н. И. Гаген-Торн [Гаген-Торн 1994]. Оказалось, что Владимир Петрович бывал и у нее дома. Видный этнограф, прошедшая колымские и мордовские лагеря, полностью реабилитированная, сотрудница Кунсткамеры приглашала калмыцкого студента в гости, видимо, потому что видела в нем интересного собеседника.

Рано став книжным ребенком, В. П. Санчилов всю жизнь был книголюбом. В его небольшой квартире основное пространство было отдано под книжные полки, но книги лежали также и на стульях, и на столах. Из его рассказа мы узнаем, что началом этой книжности стала сказка «Чипполино» и атмосфера, в которой он

рос: любящая семья, в которой все уважали знания, и та советская школа с учителями, представлявшими, как рассказывал В. П. Санчиров, в то время особое сословие.

В. П. Санчиров был честным ученым и честным человеком, потому для многих и неудобным. В его нарративе — вопреки общим схемам — он упоминает факты своей семейной хроники во всех проявлениях, независимо от того, какие тренды в современном обществе на освещение подобных событий сформированы, не сгущая красок в описании трудностей: и мы узнаем как о негодяе-калмыке, так и о добром неизвестном сотруднике НКВД. В его памяти калмыков в Ханты-Мансийске не дразнили, но в воспоминаниях других калмыков, чуть старше, мы такие факты находим. Видимо, в 1950-е гг. к калмыкам в этой местности уже привыкли, а может быть, ему повезло с микросредой.

Мы знаем опубликованные научные работы В. П. Санчирова, здесь я предлагаю его спонтанный устный рассказ о детстве и жизни в Сибири — рассказ, который дополняет дорогой для нас образ ученого.

В. П. Санчиров

Я родился в 1947 г. Моя мать Санчирова Мария Васильевна, 1914 г. рождения, до войны была учительницей и жила в Элисте, преподавала историю в средней школе. Ее муж был бухгалтером и работал в потребсоюзе. Когда началась война, муж ушел на фронт и погиб, пропал без вести в Харьковском котле летом 1942 г., и мама осталась одна с двумя детьми. В Элисте было голодно, карточки трудно было отovarивать, и она вынуждена была перебраться в Западный улус, сначала в Башанту, а потом в совхоз «Южный», пряталась там от немцев. Во время оккупации дети заболели дизентерией, эта болезнь заразная, и они умерли один за другим: вначале сын, потом дочь. От мужа не было сведений, похоронку на него она получила позже, уже в Сибири.

Оставшись совсем одна, после освобождения Калмыкии в конце 1942-го – начале 1943 г. мама готовилась к мирной жизни. У нее была котиковая шуба, и за месяц до выселения она ее сменяла на корову. Она с детства была приучена к крестьянскому труду и поэтому думала, что сможет держать корову и немножко этим кормиться.

Ее выселяли из Башанты. В Омской области она попала в латышское село. Определилась в школу преподавателем истории. Директриса, латышка по национальности, очень хорошо относилась к ней, и школьный коллектив тепло ее принял. По весне ей выделили участок под картошку, помогли вскопать. Она посадила картошку и стала жить-поживать дальше. В мае началась навигация по Оби, и часть калмыков определили везти дальше — в Салехард, за Полярный круг. И мама пошла на пристань провожать свою подругу с двумя детьми, вдову, ее муж тоже погиб на фронте.

Там ее заметил бывший башантинский начальник милиции по фамилии Бурлуткин. С ним у нее были испорчены отношения. Когда их вывозили в ссылку, она и ее подруга ехали с ним в одном вагоне. Бурлуткин с семьей ехал в Сибирь с большим комфортом, заняв полвагона. Он заранее знал о выселении и хорошо подготовился. Они были подготовлены, у них был при себе примус, бидоны с маслом, сало, мешки муки. Они жарили оладьи, запах от которых разносился по всему вагону. На второй половине вагона ехали горькие вдовы с голодными детьми. А мама по молодости была человеком горячим. Голодные дети все время плакали, хотели кушать, просили еду, и мама стала ругаться с Бурлуткиным и обозвала его фашистом. Тут он обещал ей припомнить это. Когда Бурлуткин ее увидел на пристани, он выполнил свое обещание и внес ее в список на выезд. Ее прихватывают там. Она говорит: я плакала, кинулась к другим начальникам, но все было бесполезно.

Попался ей один сердобольный начальник из НКВД, который помог ей добрым советом. Он сказал ей: «Вы, гражданочка, сильно не расстраивайтесь. Конечно, дело уже не поправишь — Вам придется ехать. Я Вам дам один совет. Вы — одинокая, у Вас ведь должны быть здесь знакомые люди с детьми? Вы запишите на себя одного ребенка и постарайтесь в пути сойти в городе Ханты-Мансийске. Это хорошее место, богатое. Там картошка хорошо родится, много ягод, рыбы много. Климат там довольно мягкий. Это вам не Салехард, где верная смерть за Полярным кругом».

Мать так и сделала. Сошла в Ханты-Мансийске и, действительно, говорит: мы здесь немножко вздохнули от тягот войны. До войны в эти места завозился большой запас продуктов и товаров на несколько лет вперед. И когда мы приехали, нам вдруг отовари-

ли карточки. Раньше вместо мяса давали яичный порошок, разные суррогаты. А здесь давали муку, масло, сахар, мыло настоящее, а мы дома уже года три не видели мыла.

В Самарове был первенец пятилетки — большой рыбоконсервный комбинат. Самарово — это пристань и поселок в трех километрах от Ханты-Мансийска. Большинство калмыков там стали работать. И это позволило им немного оправиться от пережитых лишений. Производство заключалось в изготовлении консервов из жареной рыбы. Там были отходы производства — рыбы головы и горелая мука от обжарки в масле. На этом, да еще на картошке калмыки выжили. Воспоминания моего детства: если к калмыкам пойдешь в гости, там выставляется угощение. Обычно это кастрюля с ухой из огромных рыбьих голов и блюдец с маслом и горелой мукой, в которое макаешь картошку. А те, кто остался в Омской области, говорят, там было очень голодно, и многие из них умерли.

О самом Ханты-Мансийске я вспоминаю с очень большой любовью и теплотой. Это был молодой город, основанный в 1932 г. Туда завезли ссыльных раскулаченных крестьян из Приуралья — из Свердловской и Пермской областей. Они стали первыми поселенцами, быстро обзавелись хозяйством — в общем, прижились. И по политическим мотивам, чтобы нас кто-то предателями называл, — такого не было. На национальной почве — да, может, какие-то конфликты возникали, но на политической — никаких. Видимо, все местные знали «справедливость» такого рода обвинений, сами побывали в шкуре врагов народа и поэтому относились к ссыльным калмыкам с сочувствием.

В Ханты-Мансийске было педучилище, а в нем отделение для детей народов Севера. Для представителей местных национальностей — хантов и манси, которые жили в тайге. А самих хантов и манси в городе не было, только несколько человек — из партийной элиты, помню, женщина была, депутат Верховного Совета, еще кто-то, может, и был. Население было в основном русское, да еще татары и некоторые другие, и потом вот калмыки.

И маму сразу же назначили заведующей интернатом для детей народов Севера. Детей вывозили из кочевых таежных поселков и привозили в город. Раньше они учились в школах-интернатах, потом, кто хотел учиться, того привозили в интернат при педучи-

лице. Они жили на полном государственном обеспечении. Я родился в этом интернате. Там у нас была комната. Мама с бабушкой рассказывали, что в общежитии я вольготно себя чувствовал. Как хозяин ходил по всем комнатам. А дети, говорят, были смиренные — ошарашенные такой новой жизнью.

Но потом, в 1949 г., что ли, маму уволили с работы, когда поступил циркуляр о том, что ссыльнопоселенцев на всяких таких работах запрещается держать. Она рассказывала, что по разным местам ходила, чтобы устроиться на работу. Специалистов везде не хватало, и ее везде соглашались брать. Когда же узнавали, что она ссыльнопоселенка, то на следующий день ей говорили: «Извините, мы Вас неправильно информировали, оказывается, вакантного места нет». Ей сказали в одном месте откровенно, что город маленький, не ходите, не тратьте время. Есть строжайший циркуляр из НКВД — не брать ссыльнопоселенцев на работу.

Мама вынуждена была пойти на черную работу. Выбор был такой: или на рыбоконсервный комбинат, или же на лесоповал. При леспромхозе были большие ЦРММ — центральные ремонтно-механические мастерские, а при них поселок на окраине города. Бараки для тех, кто там работал. И мать устроилась туда в эти мастерские и получила комнату в бараке. Все мои воспоминания связаны с этим бараком. В мастерских она работала мойщицей. Что это за работа была? Там ремонтировались огромные трактора, моторы которых разбирались на запчасти. Она мыла в солярке детали тракторов. Надо было ножичком отскребывать с деталей грязь и тереть их тряпкой с соляркой. Стояли большие ванны с соляркой, туда огромную шестерню опускают кран-балкой, и женщины ножичком чистят и драят ее. Тяжелая работа и вредная. Ну и попутно всякую другую черную работу выполняли.

У меня в памяти осталась такая картина. Как-то прихожу я к матери на работу и вижу, что всех женщин из ее цеха выгнали на улицу рубить дрова. В те времена вокруг города была вековая тайга, и на дрова шли кедры в три обхвата. Там стоял такой механический колун во дворе мастерских. Спленные в тайге бревна доставлялись сюда и разрезались бензопилой на чурбаны. А женщины должны были эти тяжелые чурки поднимать до уровня груди и нести их, утопая в глубоком снегу, к механическому колуну.

Здесь их нужно было ставить на транспортер, который подтаскивал огромные чурки к колуну и с размаху бросал на него. Иногда такую операцию приходилось повторять несколько раз, чтобы разбить чурбан на несколько частей, которые уже потом можно было рубить на поленья. Каторжный труд для несчастных женщин.

А сам я ходил в детский сад. В те времена учителя как бы принадлежали к особому, более уважаемому сословию. Они должны были вести себя несколько иначе, чем простая масса, и друг к другу они относились с уважением. Я ходил вначале в городской садик, потом в детсад при поселке, а потом в школу. И везде в городе меня узнавали. Все помнили мою мать как члена учительского коллектива и при виде меня говорили, это сын Марьи Васильевны. Многие учителя при встречах со мной спрашивали о ее здоровье и просили передать ей свой низжайший поклон.

Мы единственные из калмыков жили в этом месте, потом сюда приехала еще одна молодая калмыцкая семья. Более компактно калмыки жили в Самарово в пяти километрах от города и на так называемом опорном пункте между Самарово и Ханты-Мансийском. Туда я ходил в гости с бабушкой. У меня была бабушка, уральская калмычка, которая не знала русского языка, но хорошо знала казахский. Я не знаю, как она умудрялась объясняться с русскими соседями на своем ломаном языке, жестами и разными словами.

Меня растила бабушка. Мой первый язык был калмыцкий. Мама очень сильно беспокоилась по этому поводу. Говорила, вот сыночек мой растет с бабкой и говорит только по-калмыцки. Как же ему дальше жить? А она ей говорила: «Что ты беспокоишься, мы среди русских живем, что же он, не научится русскому языку, что ли? Вот сейчас научится ходить и выйдет на улицу и обязательно научится. И будет говорить по-русски так же, как и все другие». Так оно и случилось. Благодаря бабушке у меня хороший разговорный калмыцкий. У себя дома между собой мама и бабушка говорили по-калмыцки. Калмыцкий язык мы слышали в гостях или дома. А так — кругом была только русская речь.

Мама пользовалась на работе большим уважением. Ее избрали председателем месткома. Она имела высшее образование, а таких было мало в те времена. Я был очень озорной парнишка, дрался с другими детьми, не слушался воспитательницы. И воспитатели

боялись жаловаться, считали мать такой крутой. Мать стороной узнала через знакомую про мои проступки, что я спорил с воспитательницей, дрался, нарушал дисциплину. Она пошла, выяснила, и мне была большая нахлобучка.

Я был в классе из калмыков один. У нас одни соседи были татары. Дело в том, что меня дразнили татаринком. Причем для этого города татарская тематика почему-то была актуальная. В городе был краеведческий музей, а в нем экспозиция, посвященная завоеванию Сибирского ханства. В этих местах Ермак воевал, сибирские татары в памяти сохранились. Среди детей отношение к татарам было не очень. Когда я кричал, что не татарин, а калмык, они говорили: врешь ты, нет такой национальности!

Я был книжный мальчик, все искал в книгах и не мог найти упоминания о калмыках. У матери я стеснялся спросить в первом и втором классе. Но потом мне попался один сборник уйгурских народных сказок, изданный еще до войны в Казахстане. В одной уйгурской сказке я встретил упоминание о старом злобном калмыке, с которым воевал главный герой, и это тоже не удовлетворило мое любопытство. Никто мне про Пушкина не говорил.

Учительница относилась ко мне хорошо. Она знала мать по прежней ее работе. Когда Марья Петровна приходила к нам с визитом, мамы обычно дома не было, она была на работе, а принимала ее бабушка. Тогда бабушка бражку на стол ставила. Она там бражку варила на праздники. Когда я в школе выходил из рамок, моя учительница говорила: «Ой, что-то давно я не видела Марию Васильевну, надо бы мне с ней повидаться». Тогда я затихал ненадолго и вел себя прилично.

А мать работала как лошадь. Рабочий день длился с восьми утра до шести вечера, но все время были еще сверхурочные. Она никогда в шесть часов домой не приходила, работала до восьми. Единственный выходной в воскресенье. Тогда можно было еще в баню сходить, постираться, приготовить еду, да еще и в кино сходить.

В детском саду мы спали на матерчатых кроватях, которые раскладывались во время тихого часа, а потом убирались. Со временем они пришли в негодность, и бабушка увидела это и пришла как-то с цыганской иглой и суровой ниткой. И починила все

детские кровати. Почему-то воспитатели сами этого не могли сделать. Даже в газете была потом благодарность ей. Русские соседи иногда просили ее помочь им ухаживать за детьми, она присматривала за ними, шила для них, доила корову. Ее прежние навыки здесь пригодились.

Мама и бабушка были страшно напуганы. При мне, во всяком случае, ничего серьезного не обсуждали. Обрывки их разговоров я слышал только краем уха. Почему мы уехали, как мы попали в Сибирь, за что мы сюда попали — все это для меня была страшная загадка. Когда я спрашивал их, они отмалчивались. Бабушка водила меня к своим знакомым калмыцким старушкам. У уральских бабок второй язык был казахский, они говорили на нем свободно. Я бабкин внук, все время с ней. Они собирались вместе, могли выпить даже. И вот они что-то интересное обсуждают, то поспорят, то взгрустнут. И говорят все время на казахском языке. А мне же интересно знать, о чем говорят, и я тереблю ее: «Эджя, хальмгар келтн ('Бабушка, говорите по-калмыцки')».

А когда мы собирались куда-то идти, она меня предупреждала: «Вот когда мы придем в гости, тебя могут чужие люди спрашивать: а что твои мама и бабушка говорят по такому-то вопросу, что они думают? Говори: спросите у бабушки, я не знаю. Никому ничего лишнего не говори». И приводила мне в пример казахскую поговорку: «Не знаю — это одно слово, а знаю — это много-много разных слов». Оказывается, есть такая и калмыцкая поговорка. В этом отношении было очень строго.

Как-то я подслушал разговор матери и бабушки, что у них до войны были патефон и швейная машинка. Они все мечтали купить швейную машинку, потому что бабушка умела шить. Мы вынуждены были просить ее у русских соседей, что было неудобно. А иметь патефон в те времена было все равно, что во времена позднего застоя иметь видеомагнитофон. И я приставал к маме: почему ты не взяла патефон? Подушки, зачем эти подушки, можно и без подушек спать. А вот патефон... А мать говорила: «А, так... не смогла».

Сейчас я думаю, что ей тогда просто не разрешили взять. Солдаты же мародерствовали. Кому-то же это досталось потом. Кому-то говорили: «Возьмите швейную машинку, вам она в Сибири пригодится», и те люди до сих пор благодарны, а кому-то запрещали.

Один старик знал моих родителей до войны и даже жил у них на квартире. Я спрашивал у него: может, какие-нибудь фотографии у вас сохранились?

— Нет, — отвечал он, — никаких фотографий не сохранилось.

Я спросил у него: а у Вас что, не было никаких фотографий?

— Почему не было, — отвечал он, — были. Когда я был на фронте, выселяли сестру и мать. Когда их выселяли, то ничего не дали взять с собой. Пришли солдаты, штыком колят их и подгоняют: «давай-давай». Успели только подскочить к вешалке и одеться. Полушубок, шаль и все такое — с чем вышли, с тем и поехали в дальнюю дорогу.

В принципе мать мне особенно нотаций не читала. Я вспоминаю, она практически не занималась моим воспитанием. Мать рано вставала и уходила на работу. Мы вставали рано, в шесть часов. Радио заиграло, и мы вставали. Приходила поздно, измочаленная. Только что успевала умыться, поужинать и спать лечь.

Главная еда была картошка. Мы сажали картошку. Это была моя каторга детства. В том смысле, что надо было с родителями ходить на огород. Когда мама работала в педучилище, ей выделили участок, который за ней сохранился до самого нашего отъезда. В свое время он был на краю города, но затем город разросся, и огород вошел в черту города. Наш участок оказался окружен чужими избами и огородами. Со всех сторон жили хозяева.

Я вот опять вспоминаю сейчас, что тогда люди были какие-то другие. Никто на этот огород шагу не ступал. Дети играют на своих огородах, но на наш — ни ногой. Ничего не брали, ничего не трогали, хотя мы жили далеко от нашего огорода. Смотрите, как сейчас дачи обворовывают, а тогда ничего подобного и в помине не было.

По весне огород вскопать надо было. Копали мать и бабушка лопатами. Уже в последние годы стали пахать. Для этого нанимали человека, который приводил лошадь с плугом и выполнял эту тяжелую работу. Потом сажали картошку, и надо было два раза за лето ее окучивать. А мы уже жили в другом месте, надо было пешком приходиться, окучивать. И в сентябре уборка. За один день мы не могли убрать, естественно. К вечеру собранный урожай накрываем мешками и ботвой картофельной от дождя, уходим. Никто не тро-

гал. Нравы были вот такие. Половину урожая мать оставляла там, в подполе у русских соседей, они на зиму его закрывали и только весной открывали. В их подвале один отсек мать у них арендовала — за деньги или за картошку, не помню. Половину урожая картошки мы туда ссыпали до следующей весны. А половину увозили домой. У себя дома тоже в подполе держали. Иногда даже продавали ведрами задешево.

Капусту надо было обязательно на зиму солить. Много было рыбы в те времена, которую покупали с рук. Рыба была кондиционной типа стерлядки. А еще муксун, нельма, язь в разных видах. В магазине продавали только селедку в бочках, сало покупали тоже в магазине. С мясом было труднее. В продаже мяса не было. Если соседи резали свинью, корову, то покупали мясо у них. Колбасу покупали в магазине. Помню, что из колбасы даже делали пельмени, тогда колбасу делали из чистого мяса. И еще грибы покупали, соленые грузди.

Места были исключительно богатые. Я до сих пор не болею простудными заболеваниями только благодаря сибирской закалке. Кедровые орехи на зиму собирали — ну там около мешка соберем и всю зиму щелкаем. И еще сюда привезли в свое время, и два года бабушка выдавала по праздникам. После каждой бури выходили собирать шишки. Тогда от ветра они падали на землю, после этого выходим собирать. И еще когда наш сосед дядя Федя ходил шишковать с большой колотушкой. Он ею стучит по стволу, и шишки падают, а мы в мешок собираем.

Летом были белые ночи. Бабушка моя шустрая была. Она вскакивала в четыре часа утра, ходила землянику собирать с большой красной кружкой. Быстренько соберет полную кружку и домой. А у соседей мы ежедневно покупали литр молока. Пол-литра на калмыцкий чай, пол-литра мне на завтрак с куском черного хлеба. Я на всю жизнь запомнил этот свой аристократический завтрак — хоть и не клубника со сливками, а душистая лесная земляника с парным молоком.

Еще летом было много грибов, но наши грибы не готовили. Если я собирал грибы с соседскими детьми, то отдавал их соседям. Мои родители ели только те грибы, которые покупали в магазине. Чаще всего это были соленые грузди.

Еще другая была каторга — дрова. Все лето кололи и пилили дрова. Когда мы уезжали, у нас были большие запасы — целые поленницы дров, мы их потом продали соседям. Мать свой огород отдала соседям, с которыми поддерживала отношения. А наш огород был очень плодородный, хорошо унавоженный.

Однажды, когда я закончил второй класс, мать летом на работе кипятком ногу обожгла. Хорошо, на ней были резиновые сапоги большого размера, она их моментально скинула. Ожог был не очень глубокий, поверхностный. Но все равно она два – три месяца лежала дома. А мы с бабушкой свой огород сами окучивали, без нее.

Я закончил четыре класса в Сибири. Мне хотелось научиться читать, я ждал с таким трепетом душевным, нетерпением и дождаться не мог, когда же я пойду в школу. И вступление в пионеры тоже было волнующим событием для меня, я его так же ждал. Мы же идеологически индоктринированные детишки росли. Нас на образе Павлика Морозова воспитывали. Спасло то, что наша учительница нас рано приучила к чтению. Она читала нам хорошие книги: сказки Андерсена, Тома Сойера. Громкую читку она нам часто устраивала. От нее услышишь там название какой-нибудь книги и сразу бежишь в библиотеку. Тогда принято было меняться книгами, как услышишь, что у кого-то из моих одноклассников появилась новая книга, бежишь просить. Мне давали, потому что я бережно относился к книгам. И за хорошую учебу я тоже получал в подарок хорошие книги. Во втором классе мне, например, подарили «Приключения Чиполлино». Я ее прочитал, а потом давал читать всем, кто ни попросит, и мне ее зачитали до дыр буквально, она стала рассыпаться.

В шесть часов зимой, например, лежишь. Вот местное радио заговорило и объявляют, что на улице температура 42 градуса мороза. Занятия в младших классах отменяются. Ура! Встаешь, завтракаешь, надеваешь лыжи и бежишь кататься. Наш барак стоял на краю тайги; катаешься, пока не стемнеет по огромным сугробам. Я помню, что на лыжах хорошо катался. Еще ребята катались на коньках. Но мне купили лыжи.

О том, что мы — калмыки, я услышал от мамы. Дома все время разговор шел о калмыках. Наши калмыки собираются в какой-то

день у тех-то. Кто-то приходит в гости и рассказывает: у того-то в семье родился сын, у того — свадьба скоро, у того кто-то болеет. Циркулировали разные новости. Однако активное общение шло между своими, между оренбургскими калмыками. Оренбургские калмыки тяготели к уральским и донским калмыкам и больше общались с ними.

Единственное, о чем мама рассказывала уже потом, что когда я родился, мама пошла оформлять свидетельство о рождении. А ей его не выписали. Ей справку дают, а свидетельство о рождении не выписывают. Мама говорит: «Ну ладно, я виновата, сама не знаю за что. А мой ребенок в чем виноват? Он вообще здесь родился». Ей отвечают: «Нет, ссыльнопоселенцам не положено». Поэтому выдали справку. И я получил свидетельство о рождении только в 1955 г.

Уральские калмыки были более обрусевшие, мораль у них была иная. А из калмыков, что в своем котле варились, многие женщины остались старыми девами или приживалками в семьях родственниц, няньками.

Бабушка моя в Сибири не молилась. В начале 1960-х гг. умерла бабушкина подружка в Башанте. Ее дочь нам давала статуэтку бурхана, а бабушка отказалась взять. Я спрашивал: а почему ты не взяла? Она мне сказала: «Это грех. Если я возьму, то я должна буду исполнять все обряды, соблюдать посты, а я этого не делаю».

Мы жили в бараке, и однажды бабушка меня разыскала во дворе. Пойдем-пойдем, говорит. Там к нашим русским соседям пришел русский поп. Пойди посмотри, может, в жизни больше не придется увидеть живого попа. Хвать меня за руку и потащила. И я, аман ангачкад ('разинув рот'), смотрел, как совершают обряд крещения ребенка. У соседей был красный угол, а в нем икона. Поп был приезжий из Тобольска. Это был дюжий дородный мужчина, такой важный, борода, крест в руках, кадил что-то. Примечательно, что у бабушки было такое вот паническое настроение: мол, внук растет, и может случиться так, что больше никогда в жизни не увидит русского попа, а тем более калмыцкого гелюнга.

Политических разговоров бабушка очень боялась. Даже в более позднее время, когда я ее расспрашивал о старых временах, она категорически отказывалась говорить. Одно из моих самых

первых воспоминаний — это время, когда Сталин умер. Как картинку помню: детский сад, радио, тарелка, плачущая воспитательница и какая-то сумятица. А дома я не помню, как отнеслись. При мне политику мать вообще боялась обсуждать.

Мать моя была деревенская девушка, сирота. Закончила школу крестьянской молодежи. Училась на рабфаке в Саратове. Потом училась на историка в Сталинградском пединституте. Она училась в одно время с Б. Тодаевой. У нее даже сохранились старые конспекты. Я помню, принес однажды книгу Геродота, и мама взяла книгу в руки и говорит: да, помню, Геродот, отец истории. А когда мы учились, книг не было, все только на слух воспринимали. Только на лекции у преподавателя. Многих книг в библиотеке не было. Поэтому что успеешь на лекции записать, это твое. Поэтому каждое слово своих преподавателей ловили. А какие это преподаватели были! Мать как раз училась во второй половине 1930-х годов. А потом наступило время репрессий, и их всех пересажали. И им сказали, что это были враги народа, и все, чему они учили, это контрреволюция, происки врагов народа. Видимо, мать страшно боялась. Не то скажешь, и тут тебе пришлют контрреволюцию. У нее был комплекс: то, что она старательно учила, что ей преподавали, потом сказали, что это происки врагов народа. А чтобы сама она могла понять происходившее, переориентироваться, подружому преподносить те же темы, ей было сложно. Вот отсюда ее недоумение и испуг, оставшиеся на всю жизнь.

Первое послабление для спецпереселенцев наступило, когда не надо было ходить отмечаться в комендатуру. Это было униженно делать: каждый месяц туда ходить. А потом она паспорт получила на руки и полноценное свидетельство о рождении для меня. Это было событие.

Помню, прибежала русская соседка и говорит, что по радио объявили о том, что будет концерт калмыцкой музыки в час дня, вы слушайте. Я учился в классе третьем. Тогда-то я впервые услышал калмыцкую музыку.

Ехать или не ехать домой, такого вопроса у матери не было. Однозначно решили ехать. К этому времени мы уже расширились в бараке, получили вторую комнату. К этому времени мама должна была получать уже большие северные надбавки, льготы. Но все

равно все бросила и уехала. Барахла у нас было мало, мы все забрали с собой: постель, белье, одежду.

Пять суток из Ханты-Мансийска мы плыли на пароходе до Тюмени. А в Тюмени нас погрузили в товарные вагоны, и мы ехали медленно по железной дороге — недели две. Долгие остановки на полустанках, это был товарный поезд, а не пассажирский.

Мне не хотелось ехать. Но меня так особенно и не спрашивали. Там у меня были товарищи, все было знакомо. Мы уже жили хорошо. Две большие комнаты и одна из них в моем распоряжении. Я был отличник в школе. Я не очень хотел уезжать. Но с другой стороны, там была тогда психология такая, что где-то есть большая земля, а мы живем на дальнем севере. Сообщение с нею, навигация только летом. Зимой прекращалось всякое движение. Замерзала река и автотранспортом не помню, чтобы ездили. Поэтому все, кто жил там, у них мысль о большой земле всегда была — поехать учиться, поехать отдохнуть. Где-то есть красивая жизнь: ходят поезда, автобусы, метро.

Мы приехали в Дивное. Страх божий! Я же родился и вырос в тайге. Меня степь напугала. Абсолютно ровное место. Ни кустика, ни деревца, мне стало чуть ли не физически плохо. Мы приехали 14 июня. Это был ужас. Напугало и то, что вдруг стремительно и быстро солнце закатилось. У нас же там были белые ночи. А здесь темная-темная ночь и яркий-яркий день. Жара. Акклиматизация у меня была трудная: болячки на ногах и руках появились и сильно чесались. Врачи сказали, что это от перемены климата.

Когда мы жили в Сибири, последние пароходы приходили и привозили арбузы и мандарины. Раз в году покупались мандарины и два-три арбуза. И мне разрешалось их есть один раз в год от пуза. А так я вырос на лесной ягоде: землянике, бруснике, чернике, ежевике. Клюква считалась сорной ягодой — слишком кислая, много сахара требовала. стакан кедровых орехов стоил 50 коп. А стакан лесной малины, такой пахучей, вкусной — один рубль. Воду носили коромыслом, и мы даже привезли коромысло сюда, и я воду в Элисте носил коромыслом. Здесь мы жили очень плохо, нищенствовали, а куда было ехать?

В Сибири я не слышал обвинений в том, что калмыки — предатели. Коммунистическая власть, чтобы успокоить свою нечистую

совесть, устраивала показательные процессы в Элисте. И так лет 15 эти обвинения еще звучали.

Родители всегда вспоминали с благодарностью людей Сибири. А я вспоминаю свое детство в Сибири как прекрасную, счастливую пору. И жили вроде богаче и общались друг с другом больше. Общая беда сплачивала людей. Прекрасная тайга была рядом, сейчас уже там нет такой, всю повырубили. Наш барак стоял на холме, и через полкилометра — Иртыш. Изумительный был вид, особенно весной, когда Иртыш разливался.

Для калмыков эти годы оказались разрушительными в смысле утраты языка и своей культуры. Но имелся и положительный момент: та часть народа, которая раньше не имела контактов с русскими, приобрела опыт проживания в иноэтничной среде. Молодое поколение выросло и могло выживать в русской среде, это те, кто через Сибирь прошел. Но это же привело к утрате языка. Многие люди обзавелись в Сибири полезными специальностями. С другой стороны: а что, если бы не выселяли, то разве они не получили бы высшего образования или хорошую специальность здесь, в Калмыкии?

У меня было в принципе очень счастливое детство в Сибири. Потому что мать работала как лошадь и прилично по тем временам зарабатывала. Я не ходил в обносках. К нам в гости приходила девочка одна, говорила: как я люблю к вам в гости ходить. Там в Сибири очень тесно, близко общались, жили дружно. А здесь такое общение прекратилось. Расслоение пошло. К тем, кто стал начальником или жил побогаче, стало так, что уже запросто и не завалишь в гости, и они сами не придут к вам.

Литература

- Александр 2013 — *Александр Д.* Смыслы социальной жизни: культур-социология / пер. с англ. Г. Ольховикова. М.: Праксис, 2013. 639 с.
- Байбурин 2017 — *Байбурин А.* Советский паспорт. История-структура-практики. СПб.: Изд. ЕУ в СПб., 2017. 486 с.
- Гаген-Торн 1994 — *Гаген-Торн Н. И.* Мемория / сост., предисл., послесл., примеч. Г. Ю. Гаген-Торн. М.: Возвращение. 1994. 415 с.
- Гучинова 2005 — *Гучинова Э.-Б.* У каждого своя Сибирь. Два рассказа о депортации калмыков // Антропологический форум. № 3. 2005. С. 400–442.

- Санчи́ров 1990 — Санчи́ров В. П. «Илэ́тхэл шасти́р» как источник по истории ойратов. М.: Наука; ГРВЛ, 1990. 175 с.
- Санчи́ров 2016 — Санчи́ров В. П. Письменные памятники по истории ойратов XVII–XVIII веков. Элиста: КИГИ РАН, 2016. 269 с.
- Эрендженов 2001 — Эрендженов К. Э. Чудесная планета. Страницы воспоминаний. М: Новый ключ, 2001. 142 с.

References

- Aleksander J. C. The Meanings of Social Life: a Cultural Sociology. G. Olkhovikov (transl.). Moscow: Praxis, 2013. 639 p. (In Russ.)
- Bayburin A. [The Soviet Passport: History, Stricture, Practices]. St. Petersburg: European University at St. Petersburg, 2017. 486. (In Russ.)
- Erendzhenov K. E. [*The Marvelous Planet: Pages of Memoirs*]. Moscow: Novyi Klyuch, 2001. 142 p. (In Russ.)
- Gagen-Torn N. I. [Memoria]. G. Yu. Gagen-Torn (comp., foreword, etc.). Moscow: Vozvrashchenie. 1994. 415 p. (In Russ.)
- Guchinova E.-B. ‘Everyone’s Got His Own Siberia’: two stories about the Kalmyk Deportation. *Antropologicheskij Forum*. 2005. No. 3. Pp. 400–442. (In Russ.)
- Sanchirov V. P. [*‘Iletkhel Shastir’ as a Source on Oirat History*]. Moscow: Nauka; GRVL, 1990. 175 p. (In Russ.)
- Sanchirov V. P. [Written Sources (Monuments) on Oirat History: 17th – 18th Centuries]. Elista: Kalmyk Humanities Research Institute of the RAS, 2016. 269 p. (In Russ.)